

Вера Колочкова

Трудности белых ворон



Вера Колочкова

Трудности белых ворон

«Автор»

Колочкова В. А.

Трудности белых ворон / В. А. Колочкова — «Автор»,

Петров был прекрасным человеком, великолепным хирургом и удивительным, редким бабником, рядом с которым одинокие женщины расцветали и от которого мечтали родить ребенка. Вот и рожали. И подросшие дети время от времени приезжали посмотреть на родного отца. Какая печальная и постыдная ситуация... Или – как посмотреть? Может, и не так уж плохо, что на земле человек человеку не только брат, но еще и Петрову сын или дочь?

© Колочкова В. А.

© Автор

Содержание

Часть I	6
1	6
2	11
3	16
4	23
5	29
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Вера Колочкова

Трудности белых ворон

«А кто в кони пошел.

А кто в люди.

А кто в звери пошел.

А кто в птицы...»

(Из стихотворения Сергея Острового «Рождение»)

Часть I

1

Поезд чуть дрогнул и тихо тронулся, плавно поплыл за окном грустный черно-белый пейзажик маленькой станции, жалкий и неуютный в серых февральских сумерках. Илья поневоле съезжился, сунул ладони себе под мышки – замерз... Холодно очень. Холодно и как-то по-особому неприятно было в этом зимнем поезде сообщением Краснодар-Екатеринбург, в этом пустом купе с мигающими под потолком хилыми лампочками... Хорошо, хоть не голодно. Последние, вышедшие еще в Самаре попутчики, неловко извиняясь, оставили худенькому белокрысому юноше, совсем еще с виду мальчишке, большой пакет не съеденных в дороге припасов – не пропадать же добру, в самом деле. Да еще от того, может, что пожалели его: сидит, как воробей, съезжившись у окошка, уставился своими огромными грустно-коричневыми глазами в окно и молчит. Так и просидел все время, в дорожно-душевных разговорах участия не принимая. А оставленные ему так сердобольно припасы эти пришлось очень даже и кстати – времени-то на покупку продуктов в дорогу все равно не было, да и денег особых у него с собой тоже не было...

«И правда, поест, что ли – отвлечься таким способом от противных своих мыслей. Теперь-то можно...» – подумалось Илье грустно. Вот когда он туда, в Краснодар ехал на этом же поезде трое суток, уж точно думать о еде не мог. Волновался страшно, все представлял встречу с отцом и так, и этак, да еще и заготовленную заранее речь свою вновь и вновь репетировал, повторяя в уме одни и те же фразы в разных их вариациях. Только зря он так готовился – не получилось никакой трогательной встречи. А получилось все как раз совершеннейшим кувырком, хуже и придумать нельзя. Потому как это ж дети знают наверняка, что у них по логике вещей отцы где-то должны присутствовать, а вот отцы – совсем даже и необязательно... Вот и осталась лежать камешком в душе противная эта суматошная досада – и не досада даже, а неловкость какая-то. Может, потому, что ожидал большего, конечно, а может, просто за себя ужасно обидно было – так сильно хотел он его найти. Даже как будто должен был. Вот должен, и все тут. Он и сам не знал, откуда у него вдруг взялась такая уверенность, что не стоит довольствоваться этой маминой историей про автокатастрофу – звучит-то как банально, господи... Ох уж эти матери, вырастившие своих сыновей без отцов, ну что с них возьмешь, – кроме автокатастрофы, ни на что больше фантазии не хватает. Он когда и маленьким еще был, уже в эту мамину притчу не верил. Вот потому и вычислил отца в два счета. Ну, не без бабкиной помощи, конечно... Еле-еле дождался, когда мать на учебу свою медицинскую в Москву уедет. И так удачно эта ее поездка с зимними каникулами совпала – как раз времени хватило из Екатеринбурга в Краснодар и обратно на поезде сгонять. И что? Теперь вот возвращается домой – и вспоминать ему про все это тошно...

Илья сильно зажмурился и с трудом проглотил застрявший в горле комок. Казалось, внутри до сих пор все трясется от страха и волнения, как тогда, перед той самой дверью с заветной табличкой, на которой черным по белому было написано – «Заведующий хирургическим отделением Петров Д.А.» Снова увиделось ему все как со стороны: вот он заставляет себя открыть эту дверь, вот входит, да и не входит даже, а влетает со всего размаху, вот проговаривает быстро, на одном выдохе сидящему за старым письменным столом маленькому доктору в белом халате:

– Я Илья Гришковец сын Татьяны Львовны Гришковец и ваш сын тоже здравствуйте...

А дальше – как в дурном сне: доктор удивленно поднимает на него грустные и добрые, очень уставшие глаза, откидывается на спинку стула и испуганно оглядывается на стоящую у

окна маленькую женщину в таком же белом крахмальном халате, в белой шапочке, натянутой на лоб до самых громоздких очков с бликующими толстыми стеклами, будто ждет от нее каких-то объяснений. А она, кстати, тогда и не смотрела даже в их сторону – казалось, происходящее вообще не интересует ее никаким образом. И только по напряженно сжатым в карманах белого халата кулакам можно было догадаться – есть, есть ей до всего этого дело...

– Ты что-то путаешь, парень... – снова повернулся к нему доктор Петров Дмитрий Алексеевич, его отец. Как, говоришь, мать зовут? Татьяна Львовна? Гришковец? А ты, значит, Илья Гришковец? Нет, не знаю... Не помню... Нет, точно не знаю... Ты что-то путаешь, парень!

– Да нет, вы не думайте... Я ж ничего не хочу, – пытался объяснить Илья, приходя в ужас от создавшейся неловкой ситуации, – я ж просто увидеть вас хотел, и все! Ехал на поезде трое суток...

– Аня, я сам ничего не понимаю, – вглядываясь в бликующие стекла очков маленькой женщины, оправдывался его отец. – Мальчик ошибся, наверное...

– Да не ошибся я!

– Это жена моя, Анна Сергеевна, – снова развернувшись к Илье и махнув рукой в сторону женщины, с досадой пояснил он. – А тебя твоя мать ко мне послала?

– Да нет же, я сам... Она говорила, что вы погибли, когда я еще не родился...

Илья изо всех сил напрягся, пытаясь вспомнить заветные проникновенные слова из приготовленной заранее своей речи, да не смог – дыхание вновь пресеклось, слезы отчаянного волнения душным комком подступили к горлу. Он махнул рукой и пулей вылетел из кабинета, заметался по больничному коридору, ища выхода. К его отчаянию мигом прилепилось, делая его еще более ужасающим, и чувство стыдливой неловкости – вот же подвел человека. Он вообще был мальчиком эмоциональным, и без того любую неловкую ситуацию переживал всегда слишком болезненно, а тут такое...

– Эй, парень, стой! – услышал он за спиной женский голос. – Да стой же, чего ты бежишь так! Илья!

Анна Сергеевна догнала его уже на крыльце, схватила, запыхавшись, за рукав куртки.

– Стой, не убегай! Чего ты испугался-то? Стой здесь и жди! Я сейчас оденусь и провожу тебя. По дороге поговорим. Дождешься?

– Ага...

– Обещаешь? Я быстро! Вон посиди на скамеечке, приди в себя!

Он послушно уселся на скамейку около крыльца, оперся локтями в худые колени, обхватил ладонями голову. Опять по-детски захотелось заплакать, но он тут же взял себя в руки: какие слезы, если сам виноват. Натворил дел... Влетел в кабинет, как мальчишка, зрассьте-нате, я ваш сын. А ведь взрослый человек уже, двадцать лет, студент второго курса юридической академии, как-никак. А чертовы слезы все равно близко, и приходится глубоко дышать, и глотать их, и считать до ста, будь они неладны...

– Ну, пошли, рассказывай, – услышал он над головой спокойный доброжелательный голос. – Да не бойся ты! Меня Анной Сергеевной зовут, помнишь?

Без белого халата Анна Сергеевна выглядела уже не так грозно, как показалось ему вначале. Скорее даже наоборот, вызвала симпатию своей обыкновенностью: тетка как тетка, неухоженная и замученная, с отросшими корнями седых волос, в давно уже не модном кожаном черном пальто с капюшоном.

– Так почему ты решил, что Дмитрий Алексеевич – твой отец? – Без тени насмешки, участливо спросила она, идя медленно рядом и поглядывая искоса снизу вверх.

– Да ну... Неинтересно это все... – засмутился тут же Илья, покраснев и втянув голову в плечи. – И вообще, вы меня извините, ради бога, что я вот так, бесцеремонно...

– Да перестань, чего ты. Как маленький. Ну? Рассказывай давай все по порядку.

– Да мы с бабкой его недавно только вычислили, знаете ли. То есть бабка-то про него всегда знала, только молчала. А мама мне совсем, совсем другое говорила. А про настоящего отца тоже всегда молчала...

Илья вдруг и сам замолчал, будто осекся на полуслове. Рассказывать не хотелось. Если уж рассказывать – то ведь надо про все... А про все и тем более не хотелось – сор из избы выносить...

Татьяна Львовна, мать Ильи, наличие в его жизни настоящего отца, Петрова Дмитрия Алексеевича, действительно скрывала. Вообще, она была яростной сторонницей жесткого мужского воспитания сына, и бесконечно спорила на эту тему с матерью своей и теткой – по ее глубокому убеждению, мальчик вырос в совершенно мягком, неправильно-женском окружении. Не помогал даже специально для него так тщательно ею создаваемый одухотворенный образ мужественного и целеустремленного отца, так «нелепо и трагически погибшего», на которого он просто обязан был походить по всем своим жизненным показателям, не помогала и многократно-периодически повторяющаяся, с болезненным материнским укором производимая фраза «...а вот был бы жив твой отец...» Чем ее не устраивал в этом отношении образ живого доктора Петрова – только ей одной ведомо было. Илья не верил ей. И прав оказался, что не верил. Когда случайно услышал однажды обращенное к матери бабкино «...чего бога гневишь, живого хоронишь», – обрадовался даже как-то. Еще подумалось ему тогда – слава богу, есть, есть где-то живой и обыкновенный мужик, его отец, а не пугающе-бесплотный образ – героический фантом... Бабка, правда, долго сопротивлялась, не хотела ничего рассказывать внуку. А потом сдалась под его напором...

Оказалось, двадцать лет назад именно в эту больницу, в которой он сегодня так неудачно побывал, после институтского распределения и приехала Таня Гришкова, его мать, как молодая специалистка. А через некоторое время вдруг домой вернулась, даже интернатуру свою не закончив. Как выяснилось позже – беременная. И даже очень сильно беременная. Так что рожать или не рожать Тане ребенка – вопрос уже и не стоял. Просто обстоятельство это было принято как факт матерью ее Эльвирой да теткой Элеонорой, сестрами-близнецами, всю жизнь вместе с ней прожившими, – Вирочкой да Норочкой, как их все называли. Потому как одну от другой ну просто совершенно отличить было невозможно. Если, конечно, не брать в расчет главное их отличие – Элеонорины костыли, – ногу ей еще в детстве ампутировали.

– Ну? Чего ты замолчал, Илья? Значит, тебе бабушка твоя рассказала про отца, да?

– Ну да... – нехотя повернулся к Анне Сергеевне Илья. – И телефон даже его дала – в свое время от мамы тайком из ее записной книжки переписала. Так, говорит, на всякий случай, мало ли что... Вот я и позвонил по нему в Краснодар. Мне сказали, что этот самый доктор Петров – мой отец, то есть, работает теперь заведующим хирургическим отделением... Бабка Нора и говорит – поезжай, посмотри на него своими глазами, раз тебе так хочется!

– А тебе хотелось на него посмотреть?

– Очень хотелось. У меня ж отца никогда не было – мама меня даже на фамилию свою записала. Я ж не знал, что все так по-дурацки получится!

Анна Сергеевна остановилась, долго смотрела ему в лицо, нахмурив брови, как будто что-то мучительно вспоминала и никак не могла вспомнить. Что уж говорить – странные и противоречивые чувства из смеси любопытства, опасности, стародавней ревности да обыкновенной бабской жалости к этому мальчику боролись-клубились в ней, – как, впрочем, они так же боролись бы и клубились и у всякой другой женщины в такой непростой ситуации. Но жалость все же победила – и то, мальчик-то тут при чем. Да и любопытство тоже подняло из этого клубка осторожно голову – какой он, интересно, этот еще один сын Петрова...

– Ты не обижайся на него, Илья. У тебя, знаешь, замечательный отец. Только бабник жуткий.

– Да что вы, Анна Сергеевна, какие обиды! Я вообще, в принципе обижаться не умею! Что вы...

– И маму твою я помню – Таню Гришковец. Сама ее двадцать лет назад отсюда выгнала! Я как раз беременная была, когда у них тут бурный роман случился. Тебе сейчас двадцать, наверное?

– Да, скоро уже двадцать один будет.

– Ну да, все правильно. Вовка мой, получается, старше тебя на три года, а Сашка – твой одноклассник. А еще у нас младший, Артем, растет, шестнадцать недавно отметили. Он у меня приемный, младшенький-то. Петров его десять лет назад привел, это его сын от другой женщины. Умерла она, парень один остался. Я его как родного приняла. А что было делать, знаешь...

Она вздохнула и замолчала, шла тихонько рядом, сильно нахмутив лоб и выставив перед собой маленькую ладошку, словно никак не могла больше подобрать соответствующих случаю слов. Да и то – как объяснишь мальчику, что жизнь у мужиков-медиков вообще не сахар, что работа тяжелая, а зарплата копеечная... Что всех у них и радостей – любовью себя забавлять в ночные свои дежурства, и что романы у ее мужа и до сих пор случаются на неделе по восемь раз – бабы, как ошалелые, сами в койку прыгают, глаз да глаз нужен... Потом, махнув решительно рукой, будто переборов в себе что-то или откинув подальше грустные эти объяснения, горячо заговорила:

– Илья, только ты плохо о нем все равно не думай! Он хоть и бабник первостатейный, а даже и в этом деле очень порядочный, если можно так выразиться. Бывает, и не до забав ему – в каждую женщину влюбляется, как в первую и последнюю в жизни. Такой вот он.... Так и живу я, – Анна Сергеевна вздохнула, снова помолчала немного. – И сплю вполглаза, и нервничаю постоянно – все мужа пасу. Оттого и состарилась раньше времени. А мать у тебя до сих пор красивая?

– Да ничего... – задумчиво произнес Илья, – красивая...

– Значит, беременную я тогда ее выгнала. Шуганула значит, мать твою, прошу за каламбур прощения, по полной программе. А она вон как. Ай да Танечка – кто бы мог подумать... Видимо, и Петрову ничего не сказала, иначе он бы не допустил, чтоб ты его не знал совсем, он не из таких! Это сегодня растерялся просто – ты ж свалился, как снег на голову. Сейчас наверняка переживает сидит. Еще бы – ты ведь, знаешь, четвертый уже по счету...

– В каком смысле? – удивленно уставился на нее Илья.

– А до тебя еще трое внебрачных деток объявилось, представляешь? Два брата и сестренка.

– Да?!

– Так я ж и говорю – такой вот он, папаша твой...

Она снова замолчала, будто вмиг провалившись в те давние времена, снова увидела, как на картинке, и себя, маленькую неказистую фельдшерицу, и Петрова своего, и Танечку Гришковец-раскрасавицу. В самом деле, уж как Петрову было в нее не влюбиться: высокая, статная, в себе уверенная, вся из себя гордо-праздничная такая женщина, вот только глаза иногда очень уж серьезно-печальными бывали. Она еще и землячкой Петрова оказалась, как на грех. А ее, Анну, тогда совсем токсикоз замучил – второй, Сашка, не просто ей дался. Ходила страшная, злющая. И так-то никогда в красавицах не числилась, даже по молодости, а тут вообще расквасилась – без слез и не взглянешь. Вот и шуганула она Танечку с удовольствием – всю свою бабскую обиду на ней одной выместила. Да ее никто и не осудил тогда – все и так понятно было: жена беременная, а тут вдруг у мужа – очередная любовь. Теперь вот – нате вам...

– Что же. Как говорится, пришло время собирать очередные камни... – тихо вздохнула женщина, будто возвращаясь из прошлого и с грустной улыбкой глядя на Илью.

– Да ладно вам, Анна Сергеевна. Какие камни! Я посмотрел на него, и хватит. И уеду сегодня же. У меня поезд через два часа.

– А ты и правда на него зла не держи, мальчик! – будто не слыша, продолжала говорить она, снова вцепившись в рукав его куртки. – Он хоть и бабник, и крови моей попил достаточно, а мужик все равно достойный. Честный, порядочный, безотказный. Самый лучший хирург в городе! Такому все простить можно, так ведь?

– Да, Анна Сергеевна. Наверное.

Она снова резко развернула его к себе, снова с напряженным вниманием долго вглядывалась в его лицо. Наконец, грустно улыбнувшись, тихо и ласково проговорила:

– А ты очень на него похож, Илья. И на Сашку моего похож, на среднего сына... Да и Вовкино что-то есть... Петровская порода, в общем, ни убавить, ни прибавить. И походка у тебя, знаешь, такая же, и глаза, и голос...

– Спасибо, – расплылся вдруг в благодарной улыбке Илья. – Спасибо вам, Анна Сергеевна.

– Слушай, а пошли к нам! Надо ж тебе с братьями познакомиться! – совершенно неожиданно и для самой себя вдруг предложила она.

– Да нет, спасибо, у меня правда поезд через два часа, а еще до вокзала надо добраться! – торопливо отказался Илья. К тому же в кармане куртки уж совершенно некстати заверещал мобильник – наверняка мать звонит, как чувствует чего... Илья достал телефон, посмотрев в окошечко, нехотя нажал кнопку соединения и, отвернувшись в сторону от Анны Сергеевны, тихо, будто перед ней извиняясь, начал бормотать в трубку: – Да, мам, слушаю... Из института еду... Да, скоро буду дома, все в порядке у нас. Голос? А что голос? Нет, правда все хорошо, не волнуйся. Давление бабке меряю, конечно... Да... Ой, да все нормально, чего ты... Ну давай, все, пока... У меня батарея садится...

– А мама долго еще в Москве будет?

– Дня три еще, а что?

– Так оставайся! Все равно уж обманул мать! Семь бед – один ответ! – тихо продолжая удивляться благородному своему порыву, продолжала уговаривать его Анна Сергеевна.

– Да нет, я и правда не могу, – развел руки в стороны Илья. – Бабка же там одна. Она ведь старенькая уже, да и на костылях еще. И так только через трое суток дома буду! Можно было б на самолете, да дорого...

– А если б ты отца не нашел? А если бы он на операции был? Так бы и уехал?

– Так ведь нашел же!

– Ну, хоть на сутки останься! Он же потом изведется весь! Я ж его знаю...

– Нет, Анна Сергеевна, не могу. Правда, не могу. Спасибо вам.

– Ну ладно, ну что ж... Тогда я тебя до поезда провожу! Расскажи мне о маме...

– Нет, лучше вы мне еще про отца расскажите!

2

Задумавшись, Илья не заметил, как умял целых пять больших пирогов с капустой да два сваренных вкрутую яйца. От еды и правда полегчало, будто досада, в нем больной занозой засевшая, тоже урвала себе свой кусочек, согрелась да и свернулась в трубочку – спать залегла. Да и поезд показался не таким уж и неприятным – поезд как поезд, подумаешь. Он даже улыбнулся сам себе тихонько для бодрости, и тут же решил, что в панику от произошедшего с ним такого важного жизненного события впадать больше не станет, а совсем даже наоборот, постарается разложить все по полочкам: хорошее – к хорошему, плохое – к плохому. А потом и из плохого, следуя бабки Нориной теории, постарается извлечь для себя только хорошее, а иначе никак, иначе и жить нельзя. Одно только обстоятельство для Ильи было неисправимо-мучительным – как же он так отца своего, доктора Петрова этого, сильно под монастырь подвел... А с другой стороны – Америки-то он не открыл для жены его. Как она, эта Анна Сергеевна, лихо про мужа-то своего – вроде как ни одной юбки не пропустил. И с его матерью у него тоже вроде как случайно все получилось, и он, выходит, в его жизни – тоже случайный фактор...

Вспомнив о матери, он снова вздохнул горестно и уставился в серые февральские сумерки за окном – не дай бог еще и она узнает про тайное это его путешествие...

Боялся Илья не зря. Вообще, он рос добрым и спокойным мальчиком, и, казалось бы, хлопот особых матери своей, Татьяне Львовне, доставлять вовсе и не должен. Однако огорчал ее постоянно, потому что с катастрофической какой-то периодичностью умудрялся попадать в самые невероятнейшие истории. Виной же всему были его до смешного, а порой и до абсурда доходящие доброта и слепое наивное простодушие; они жили в нем, казалось, по собственным законам, и никаких материнских доводов об этой невероятной их абсурдности воспринимать не желали. Мальчик он был действительно странный – «сдвинутый, от жизни отодвинутый», как дразнили его с самых ранних школьных лет. Татьяна Львовна всегда очень болезненно воспринимала странное поведение сына, раздражалась и даже, как ему иногда казалось, стыдилась его немного, хотя и всячески пыталась скрыть это свое раздражение, убеждая сына в том, что наивные и благородные Дон-Кихоты нынче числятся в обыкновенных придурковатых неудачниках, что надо просто научиться «жить, как все» – то есть не раздавать себя направо и налево всем желающим, не терять времени на глупейшее созерцание и дурные рефлексии, а строить свою жизнь ярко, красиво, стремиться к мечте, к карьере, или к материальному хотя бы благополучию, и что нельзя, в конце концов, жизнь свою прожить только под лозунгом «надо творить добро»... Илья, слушая ее, в основном молчал. Он и сам не отдавал себе отчета, что поступками своими как-то «творит» это самое добро, просто у него так само собой получалось. Может, по инерции какой, без всякой на то внутренней рассудительной подоплеки. Молчал, потому что объяснить что-либо вразумительное про себя он ей никогда не мог, не получалось у него как-то.

Когда еще в школе учился – и очень хорошо, надо сказать, учился, – тоже никак не мог ей объяснить, почему вдруг в конце года выплывала у него двойка за отчетную контрольную, порушив тем самым надежду на итоговую годовую пятерку. Почему он так опрометчиво решает эту самую контрольную по математике в первую очередь не себе, а соседу по парте, хилому троечнику Гришуне, потом – симпатичной моднице Сонечке, а на свое задание уже просто времени не остается. Мать опять раздражалась, и опять слышать не хотела о том, что у Гришки злобный и жестокий отец, который бьет его смертным боем за каждую двойку – воспитывает так, а в Сонечку математика просто категорически не лезет, хоть тресни. И не потому, что она девочка и больше о нарядах думает, а потому, что у нее мозги так устроены – отторгают они все уравнения и формулы начисто – не оставаться же ей в школе навечно из-за этого. Жалость к Гришке и Сонечке перешибала в нем всяческое честолюбие отличника –

зачем ему эта пятерка за контрольную, если он разом столько чужих проблем решить может? Главное – она в голове у него есть, пятерка-то эта. А в журнале школьном пусть себе и двойка поторчит на здоровье, подумаешь... И вовсе дело не в благодарности какой, не в тихом Гришкином «Спасибо, Гришковец!» и не в Сонечкином кокетливом «Молодец, Гришковец!». А дело все было в нем, в Илье. Он чувствовал, что устроен так. И ничего с собой поделывать не мог. И программу, которая была в него каким-то хитроумным способом заложена, – «программу пресловутого альтруиста», как говаривала Татьяна Львовна, – тоже изменить не мог. А кличка эта дурацкая – Молодец-Гришковец – к нему еще с детства приклеилась. Илья даже и привыкнуть к ней успел. Хотя и звучало это опять таки странно, вроде как Иванушка-дурачок... Но не у всех. У бабки, например, с мягкой иронией, у Андрея Васильевича, Татьяны Львовны «приходящего мужа» – с одобрением, у институтских его однокашников – как привычное уже погоняло, а вот у самой Татьяны Львовны, матери его – с горечью... Она не принимала его таким. Хотела, наверное, но не получалось у нее. Илья не обижался. Он и сам порой себя не понимал, чего уж... И еще – он очень жалел ее. И любил безумно. А получается – все равно обижал. Вот такой вот парадокс...

Правда, виделись они совсем редко. Татьяна Львовна дома бывала набегам, работала на двух, а то и на трех медицински-нищих своих ставках. Деньги зарабатывала. Однако когда Илья вознамерился было после школы поступить на вечернее отделение юридического института, чтоб тоже работать пойти, закатила вдруг жуткий скандал и потребовала от сына «нормального и полноценно-стационарного» образования, и еще – чтоб непременно красный диплом был. Тут же, смеясь, шутливо и пояснила – мол, потребность у нее такая образовалась, хочется ей красный диплом сына подержать в руках, и все тут. Илья не стал с ней тогда спорить. Просто решил – он обязательно ей этот красный диплом принесет, на тарелочке с голубой каемочкой... Раз ей так надо – пусть. Может, хоть таким образом компенсирует ее раздражение по поводу странных своих поступков. И в самом деле: то он новую куртку замерзающему на улице бедолаге отдает, то холодильник опустошает начисто для соседских мальчишек, у которых родители в пятидневном запое пребывают... Не сын, а сплошной убыток. И по-другому он не мог, прям как наркоман какой. Внутри вдруг в самый критический момент будто лампочка какая загоралась, мигала тревожно и сигналы подавала, и разум блокировала полностью, – вот он и бросался очертя голову, в неведомом каком-то порыве и не помня себя навстречу чужому горю...

Илья вздохнул тяжело, помотал головой из стороны в сторону. Досада на себя, так хорошо уснувшая было всего час назад, вдруг снова зашевелилась, разворошила быстренько память, вынеся на ее выпуклую поверхность тот полный последний кошмар, который он сотворил с матерью всего четыре года назад. Он тогда еще в восьмом классе учился...

Вызвал его тогда в подъезд Колька Ларионов, сосед с первого этажа, и, трясаясь от ужаса, рассказал, что его на счетчик посадили какие-то отморозки, и сумма порядочная уже набежала – не отдать ему никогда. И нет у него другого выхода – только из дома бежать куда глаза глядят, чтоб не нашли... Не родителям же рассказывать – еще хуже будет. А бежать ему и некуда совсем было. И просил-то Колька у него хоть сколько-нибудь денег – на первое время в бегах своих перебиться. Ну, лампочка эта дурацкая у него внутри и зажглась на полную мощность... Пошел да и взял у матери деньги, что она на шубу себе копила. Все взял, до копеечки. Чтоб на весь этот Колькин долг хватило. Не думал он тогда ни о матери, ни о шубе ее, вообще ни о чем таком не думал – все куда-то на задний план перед этой Колькиной бедой отступило. И даже вечером, когда сам ей во всем признавался, еще в себя так и не пришел – смотрел на нее удивленно да ресницами своими длинными моргал – чего это она...

А Татьяне Львовне в тот момент по-настоящему плохо стало. Вдруг такой ужас на нее напал от осознания того, кем же вырос, кем пошел в эту жизнь ее сыночек, что потемнело в глазах и показалось, земля ушла из-под ног. И даже мысль черная и коварная в голове неожиданно

промелькнула: а нормальный ли он вообще, может, его срочно психиатру показать надо... Плехнувшись с размаху на стул, она слушала его перепуганный лепет и изо всех сил пыталась понять, что ж это такое происходит с ее сыном, и что такого срочного ей надо с ним предпринять...

– Понимаешь, я не мог, мама, – выставив перед собой ладони и преданно глядя ей в глаза, пытался робко обосновать свой поступок Илья. Увидев такую ее реакцию на это свое признание, он и сам уже будто испугался содеянного, и трясся весь внутри, как осиновый листочек. – Мам, ну прости... Все равно ж надо было как-то спасти Кольку-то... А она, мам, судьба-то его, прямо в мои глаза как взглянула, так и не смог я. Ни одна ведь шуба не стоит судьбы человеческой, правда? Правда же, мам? – в отчаянии зажав лицо руками, твердил Илья, и взглядывал на нее просительно, и снова трясся...

Татьяна Львовна долго ничего ответить ему не могла. Сидела, выпрямив спину, смотрела мимо куда-то в кухонное пространство. А потом будто опомнилась вдруг, кричать начала:

– Немедленно... Ты слышишь, немедленно иди и верни мне мои деньги! Это я их заработала, понимаешь? Я! И мне плевать на всех твоих Колек и на их проблемы, вместе взятые! Я твоя мать, я! И ты меня любить должен, понимаешь?! И никого больше! А я – тебя! И все! И все!

А потом размахнулась и с силой ударила Илью по щеке. Тяжелой рукой ударила, от души, от отчаяния своего злобного да с годами уже поднакопившегося. Может, и по другой бы так же ударила, да в комнату мать ее с теткой вошли, Вирочка с Норочкой, молча положили на стол аккуратненький такой пакетик, в старую газетку завернутый.

– Вот, Таня, возьми, мы тут на старость кое-чего отложили. Это тебе на шубу. Не бей его, пожалуйста!

Татьяна Львовна тогда как развернула газетку, да как увидела стопочку тысячных бумажек, любовно разглаженных, одна к одной сложенных, – так и зарыдала в голос. Кое-как они ее и успокоили, наперебой оглаживая по трясущимся крупной лихорадочной дрожью плечам да приговаривая ласково-успокаивающе:

– Танечка, мальчик же не на водку и наркотики деньги взял, он человеку помочь хотел...

– Танечка, мы сейчас поговорим с ним, а ты успокойся, иди отдыхать! А завтра себе шубу новую купишь! А нам деньги зачем? Нам и пенсии хватает. А заболеем – так ты нас сама же и вылечишь!

Потом, уже в своей комнате, и состоялся у Ильи с Вирочкой да Норочкой тот памятный разговор, который действительно посеял в душе у него большие сомнения и который заставил его враз засомневаться в такой уж необходимости этих ярчайших своих душевных порывов.

Нет, они совсем его не ругали и не стыдили. Они вообще этого никогда не делали. Просто умели убеждать так, что ему и самому за свой поступок несколько неуютно становилось. Умели они разобрать всю ситуацию по косточкам, по зернышку-ядрышку, умели увидеть в самом, казалось бы, благородном порыве человеческом его неприятно-мутную, оборотную сторону правильной золотой медали. Вот и в этом случае выходило, по их разумению, что этот порыв его не что иное и есть, как эта самая пресловутая оборотная сторона, и нет ни у кого права выпрыгивать на чужую жизненную дорогу, что иногда в порыве сделанное добро на деле есть для другого самое настоящее зло, потому как лишает его сладкого счастья собственного, жизненно необходимого преодоления. Тем более, когда добро это творится за чужой счет – материнских, к примеру, слез по поводу не купленной на зиму шубы... И сколько он с ними ни спорил отчаянным своим фальцетом из-за приключившейся не к месту юношеской ломки голоса, сколько ни доказывал свою истину, выходило все равно так, что кругом они правы оказывались: и в том, что нельзя опрометчиво подставлять искреннее свое простодушие под людскую хитрость, которую он этим самым простодушием только искушает вовсю, и в том, что учиться надо как-то распознавать эту самую хитрость, и в том, что иногда наступает крайняя такая

необходимость – надо себя самого для самого себя же и сберечь бережно, а не лезть напролом в чужую проблему, как вот в Колькину, например. И все это у них так ловко да незаметно выходило, все в спорах да в разговорах, да с любовью искренней, без всякого там стыда, недовольства да гневного раздражения...

Они вообще любили с ним поспорить, бабки его, Вирочка с Норочкой. А особенно Норочка яркой спорщицей была. Еще и смеялась потом всегда – если, мол, не поумнеешь, так хоть говорить хорошо да правильно научишься, что в адвокатской твоей карьере будущей и не помешает совсем...

А насчет Кольки он погорячился, конечно. Зря битый час им правоту свою доказывал – это уж позже выяснилось, что Колька вообще никуда сбегать вовсе и не собирался, обманул его просто. А деньги, от Ильи полученные, в автоматах игровых спустил. Правы, правы оказались драгоценные его Вирочка с Норочкой. И подружки, и няньки, и воспитательницы. Умные, интеллигентные, все понимающие – золото, а не бабки. И такая от них любовь плотной волной всегда исходила – руками потрогать можно, если захочется. Вот он в этой плотной любви и вырос, по выражению Татьяны Львовны, «будто овощ в жарком парнике». А еще Татьяна Львовна искренне полагала, что именно они – Вирочка с Норочкой – ее сына и испортили, залюбили вконец и от жизни реальной отодвинули – совсем уж белой вороной сделали, и нет будто в жизни людей несчастнее, чем эти самые, которые белые вороны и есть... Илья, конечно же, поутих тогда надолго после этого случая. Мать огорчить боялся. Помалкивал да книжки читал запоем, полностью почти в себя ушел, чтоб ни видеть, ни слышать... И пришла ему вдруг однажды, как открытие, в голову мысль: если человек так артистически-мерзко лжет, используя эту его мгновенно самовозгорающуюся внутри лампочку, то, выходит, этому человеку совсем, совсем уж плохо. Выходит, он несчастнее вдвойне, втройне самого что ни на есть распоследнего бедолаги, судьбой обиженного, и жалеть его, выходит, надо не просто так, а больше даже – вдвойне, втройне больше. Вот тогда и почувствовал он в себе еще одну странную способность, о которой долго никому не мог рассказать, даже бабкам...

А год назад Вирочка умерла. Илья пришел из института – нет ее, в морг увезли. Инфаркт. И осталась бабка Нора одна. Он на занятиях целый день, Татьяна Львовна на работе – некому ей даже и костыли подать. Хотя Норочка и не жаловалась никогда, но Илья видел, как ей трудно. Мало того – она еще и еду норовит приготовить для всех, и утром все пытается раньше встать да завтраком его накормить. Еще будильник не прозвенит, а она уже костылями в кухне стучит, тарелками гремит...

Татьяна Львовна, когда мать похоронила, сразу к тетке переселилась, сыну комнату освободила. «Ты уже большой», – объяснила она ему свой поступок, – «У тебя своя, собственная территория должна быть». Илья, как мог, сопротивлялся – вовсе не нужна была ему никакая такая территория. Но мать, как всегда, на своем настояла, и пришлось ему это обстоятельство все-таки принять, как удар по сыновней его совести. Потому что территория эта ей и самой крайне была необходима для устройства собственной личной жизни, которая, какая-никакая, а все же иногда имела место быть: Татьяна Львовна вот уже пять лет подряд встречалась с очень хорошим, по ее разумению, мужчиной – драгоценным своим Андреем Васильевичем, и связью этой очень дорожила, и покорно и трепетно ждала со дня на день предложения руки и сердца от женатого своего друга. Илье же и Норочке она давно про Андрея Васильевича все объяснила, и даже поделилась некоторыми подробностями – что у них не все так просто, что у него в той семье дочка, и что он, как человек глубоко порядочный, не может вот так сразу, с бухты-барахты взять ее да и бросить. А Илья к Андрею Васильевичу давно уже попривык. И за нерешительность такую даже уважал – дочка все-таки. И вообще, считал хорошим мужиком, правильным. Тем более он, как и его родной отец, доктор Петров, тоже хирург...

Он вдруг улыбнулся, вслушавшись в это невероятное созвучие – доктор Петров... Красиво-то как, господи. Как музыка... А если еще взять и отбросить эту противную досаду, при-

казать ей замолчать категорически раз и навсегда, то и совсем хорошо звучит. В тот же миг, вместе с услышанной этой музыкой, пришло к нему и радостное осознание правильности своего поступка – как же хорошо все-таки, что он его нашел, и что съездил к нему – тоже хорошо. Зато теперь знает: он – есть. Он, его отец, живет на свете доктором Петровым из Краснодара, обаятельнейшим мужиком с пронзительно-горячими, очень умными и грустными глазами. И жена у него хорошая тетка. Когда поезд тронулся, она еще бежала за вагоном, кричала: «Ты телефон не оставил! Позвони мне сам в больницу! Обязательно позвони!» Потом стояла, долго еще вслед рукой махала...

За окном поезда совсем стемнело, вагон мерно и плавно покачивало на быстром ходу. От выпитого горячего чая Илью разморило, глаза начали слипаться сами собой. В очередной раз он позвонил бабке Норе, пожелал ей спокойной ночи и заснул крепким здоровым сном двадцатилетнего юноши – обладателя непонятных, самовозгорающихся от чужого горя лампочек, большого, доброго сердца да успокоенной ощущением выполненного сыновнего долга души – кому-то кажущейся до смешного простой, а кому-то, может, и необъяснимо сложной...

3

– Ну что мне, Петров, делать с тобой, скажи? Когда ты и успокоишься только, Казанова несчастный?

Анна быстро перемещалась по кухне, резала хлеб, гремела тарелками, помешивала томящуюся на плите рисовую кашу в большой кастрюле. Петров сидел за кухонным столом, сцепив перед собой руки, смотрел в неуютно-утреннее февральское окно за выпцветшей занавеской, молчал. Знал, что может и помолчать. Даже лучше будет, если он помолчит. Соблюдает ритуал, так сказать. Должна же она все ему высказать, должна и обругать как-то – имеет полное право, жена все-таки.

– Ты знаешь, я уже скоро привыкну к твоим сваливающимся вот так, как снег на голову, сыновьям да дочкам. Сколько ж можно-то?

– Про этого парня я вообще ничего не знал... – тихо проговорил Петров. Не оправданием перед женой прозвучала его фраза – досадой на самого себя, скорее. Да и знал он распрекрасно, что не нужно ему оправдываться перед ней, что и не обвиняет она его вовсе, по большому-то счету, а, скорее, строго подшучивает, слегка при этом сердясь...

– А мальчишка-то какой замечательный, Петров! А ты – что-то путаешь, парень, что-то путаешь...

– Ань, не надо. Я и так сам себе не рад.

Петров действительно маялся. Очень. И даже несмотря на рассказ жены о том, что не обиделся вовсе на него этот парень, его сын, – все равно маялся. Вспоминались каждую минуту, настырно лезли в душу его отчаянные, совсем еще детские глаза, этот его безнадежно-прощальный взмах рукой и быстрое бегство в два прыжка из его кабинета. Он никак не мог понять, почему повел себя с ним так странно, в поисках ответа на этот вопрос уже исковырял-изрыл острым будто гвоздиком всю свою виноватую душу. Только толку от этого не было: душа болела уже нестерпимо, а оправдания себе он так и не нашел... Анна, коротко и понимающе взглянув, поставила перед ним исходящую паром тарелку с кашей, положила рядом ложку:

– Ешь, Петров. Ешь! На работу опоздаешь! И хватит уже распиливать себя на части.

И вообще – в первый раз, что ли? И сдается мне, даже и не в последний...

– Не хочу я есть, Ань. А кофе есть?

– А кофе нет.

Она хотела добавить, что и денег в доме тоже практически нет, да не стала: они от такой констатации факта сами по себе все равно не появятся. Просто вздохнула тайком, по-женски да по-матерински пожалев троих своих сыновей – у них сейчас, можно сказать, самый юношеский жор в разгаре, а она им – кашу... Да и Петрову тоже плотно позавтракать не помешало бы – у него сегодня две операции запланировано. В ту же секунду она будто подобралась внутренне и лихорадочно начала вычислять, кто ж ему из медсестричек сегодня ассистировать должен... И быстренько успокоилась, сообразив, что это всего лишь Леночка Воротникова – тихая и незаметно-бледная мышка, у которой и повязка-то марлевая, бывает, вместе с лицом воедино сливается. Хотя для Петрова сама по себе красота женская – совсем даже и не фактор-показатель...

Петров тем временем быстро поднялся из-за стола, так же быстро прошел в прихожую. Столкнувшись в узеньком коридорчике с Вовкой, слегка поддал ему кулаком в упруго-накаченный живот – привет, мол, сын... Торопливо натянув на себя старую кожанку и такую же основательно потертую кепочку-блинчик, выскочил в дождливо-южное февральское утро, почти бегом припустил в сторону автобусной остановки.

– Ну что, мам? Кто у нас на сей раз? Очередной братец? Или сестренка? – с сарказмом проговорил Вовка, заходя на кухню. – Я так думаю, братец. Сестренка у нас в прошлый раз была...

– Вовк, ну зачем ты так? Тебе-то что? Ну, будет у тебя еще один брат...

– Мам, да как ты можешь вообще? – возмущенно повернулся он к ней и даже всплеснул руками отчаянно. – Ты же женщина! Ты ж жена его законная! Не понимаю я...

Анна шутливо втянула голову в плечи и даже отстранилась от него слегка, будто испугавшись сильно. Вовка вообще был в их семействе «самых честных правил», как тот совсем занемогший Онегинский дядюшка. Они все и впрямь слегка побаивались этого его пуританства-строгости: и Анна, и Петров, и Сашка с Артемкой. И уважать он себя, конечно, тоже их заставил, и лучше, как там говорится, тоже выдумать не мог... Анна только усмехнулась тихонько на эту его «женщину» и «законную жену», и, снова робко пожав плечами, повернулась к нему с улыбкой:

– Могу вот, Вовка. И ты на отца не сердись. Он же не виноват, что все бабы от него рожать хотят! И я вас тоже только от него рожать хотела...

– Мам, так все же смеются над ним! И над тобой, наверное, тоже. Стыдно ведь...

– Чего стыдно? Что у тебя где-то живут братья и сестры? Мне вот, например, так ни капельки...

– А мне – стыдно! А я – не хочу! И вообще, знаешь, что про нас говорят?

– Ну? И что?

– Что наш отец создал некую новую общность людей. Раньше она называлась советский народ, а теперь – дети Петрова...

– Да? Как интересно! – рассмеялась от души Анна. И на этом же легкомысленном смехе весело спросила: – Ты кашу-то есть будешь?

– Не хочу!

Вовка лихо развернулся в дверях, обиравшись на такое несерьезное отношение к вопросу, с шумом выскочил из кухни, хлопнув дверью. Вернувшись, однако, через пять минут, неловко подошел к матери сзади, наклонился, клюнул губами в щеку.

– Мам, прости... Я и правда не хочу. Просто на первую пару опаздываю.

– Иди, ладно, – махнула на него мокрой рукой Анна, – иди уже...

«Молодой еще, глупенький. Весь в своем максимализме юношеском...» – подумала она ему вслед, грустно улыбаясь и моя скопившуюся за утро в раковине посуду.

Сына своего Анна понимала прекрасно. И сама она двадцать лет назад вот так же сердилась на своего мужа. И не то чтобы даже сердилась, а уже потихоньку и ненавидеть его начала, черной своей женской злобой-ревностью исходила: то гнев на нее праведный нападал – готова была каждой потенциальной разлучнице походя глаза выцарапать, то страх жуткий – а вдруг бросит ее Петров в одночасье, а то и обида женская слезами глаза застила – перед людьми за себя, обманутую, стыдно было... А потом Анна взяла и злиться перестала, словно надоело ей. А может, поняла просто, что любить и прощать своего «коварного изменщика Петрова» ей намного спокойнее и – вот парадокс – даже как-то и радостнее... Да, именно – радостнее. Потому что сразу вдруг открылось ей, как из старого хорошего фильма запомнившееся – счастье, это когда тебя понимают... Вот и она поняла, что счастлива. И приняла его таким – со всеми его романами, влюбленностями да внебрачными детками. И еще поняла, что и не измена это вовсе – всех баб подряд любить. Просто такое ему богом чувство зачем-то дано – всех любить. Он же в этом не виноват... И досужие насмешливые разговоры людские про любовь, которая «ниже пояса», и сочувствующие взгляды в свою сторону она как-то престала вообще замечать. Что ж, если самой природой так заведено – все ведь хотят, чтоб их хотели. Именно это, по глубочайшему Аннинному убеждению да жизненным ее наблюдениям, и делало женщину женщиной – чтоб она непременно была желанной кому-то. Оттуда она и тепло, и

силы для жизни берет, чего уж тут душою кривить. Все действиям верят, не словам. А самое интересное – Анну всегда это обстоятельство очень почему-то забавляло – ни одна ведь «сволочь-разлучница» от этого тепла ни разу не отказалась. Да и сама Анна в свое время – тоже не отказалась. А уж совсем было в молодости на свое зеркальное отражение рукой махнула: срашненькая, убогенькая, ни рожи, ни кожи, в глазах – вообще тоска вселенская да сплошной угрюмый комплекс по поводу своей внешности... И никто иной как доктор Митя Петров доказал ей тогда, что она такая же, как все, женщина, и заставил-таки в себя поверить, и в любовь поверить. А дети, которые от любви – они ж сами на свет просятся. Чтоб конкретный результат, так сказать, от нее был. Да и то – вон сколько их у Петрова получилось – хоть дверь не закрывай...

«Результатов» этих у доктора Петрова и впрямь было уже многовато: в Саратове жил его сын Леня, еще один сын, Пашенька, подрастал здесь же, в Краснодаре, на соседней улице, была у него еще и дочка Ульяна, недавно совсем приезжавшая навестить отца аж из самого германского города Дрездена. Так что Илья Гришковец, можно сказать, со своим явлением к отцу уже и припозднился несколько...

– Да уж, двое в Пензе, один в Саратове... – пробормотала Анна вслух крылатое выражение из старой комедии и засмеялась, махнув в пространство кухни рукой.

– Мам, ты с кем здесь разговариваешь? – заглянул на кухню лохматый спросонья Сашка. – Сама с собой, что ли?

– Ага.

– Ну, дожила... Мам, Артемку будить?

– Нет. Пусть поспит еще часок.

– Так ему ж в школу!

– Ну и что? Ничего страшного. Он и так круглый отличник.

– Ну, ты даешь, мам Мне так не разрешала прогуливать!

– Ну да! Тебя ж, балбеса, надо было к стулу привязывать, чтоб уроки делал! Не помнишь, что ли?

– Помню. Мам, а чего это Вовка тут с утра орал?

– Он не орал...

– Да я же слышал! Про брата какого-то поминал... Что, опять, что ли?

– Да, Сашка, еще один братец у вас объявился!

– Да ты что! Клево... Старший, младший?

– Одногодка твоей.

– Ух ты! А как зовут?

– Илья. Илья Гришковец...

– Еврей, что ли?

– Да почему еврей? Нет, по-моему. Хотя не знаю... Да какая разница-то?

– Ну да... А когда к нам придет?

– Он из Екатеринбурга, Сашк. На один день всего и приезжал...

– Ого! Из тех краев у нас братьев еще не было! Расширяется наша география...

Сашка потянулся, зевнул звонко, потряс обросшей головой, как маленький сильный жеребенок. В отличие от старшего брата ни пуританством, ни отсутствием аппетита он не страдал. Любил и поесть вкусно, и поговорить бойко, – был таким по молодым годам своим живчиком. Родительские сложные отношения Сашку практически никак не волновали, он любил их такими, какие они есть – и вместе, и каждого в отдельности. И братьев-сестер своих новых принимал с радостью, как некий даже подарок судьбы – с большим удовольствием. Погладив руками впавший живот, Сашка двинулся к плите, с интересом приоткрыл крышку кастрюли и тут же скривился страдальчески:

– Опять каша... Да еще и рисовая...

– А ты чего на завтрак хочешь? Телячью грудинку, запеченную в ананасе?

– Да нет... Я бы и без ананаса обошелся...

– Ладно, иди умывайся да садись кашу трескать. Грудинка все равно отменяется. Потому что надо было у миллионеров рождаться, а не у бедных врачей! Сам виноват...

– Мам, вот за что я тебя люблю, так это за прикольность твою! Ты такая классная!

– Спасибо, сынок, – засмеялась Анна. – Давай ешь и иди уже – опоздаешь...

Сашка торопливо, отчаянно морщась, проглотил свою порцию рисовой каши, запил глотком чая и умчался в свой медицинский институт – первокурсникам нельзя опаздывать, у них с этим строго...

А Вовка на свою первую пару так и не пошел. Уселся на мокрую скамейку в институтском скверике, подняв воротник куртки и глубоко засунув руки в карманы штанов, сидел, злился на себя потихоньку да мучился душевной своей некомфортностью, – неразрешимым, как ему казалось по глупой молодости, конфликтом отцов и детей. В чем состоял его собственный с ними конфликт, он определить никак не мог, потому что искренне любил и мать, и отца. Но непонятная обида все равно сидела занозой в сердце, и вовсе не нравилась ему эта обида, и каким образом ее изжить-убрать, Вовка не знал...

– Эй, Петров, ты чего прогуливаешь? – услышал он вдруг над головой веселый, надтреснутый слегка голосок однокашницы Катьки Александровой, стриженной под рыжего ежика умницы-отличницы. По каким-то одной ей ведомым принципам не желая совмещать свое внутреннее содержание с внешней формой, Катька предпочитала появляться на людях в образе такой хулиганки – тинейджерки: носила несуразно-модные тряпочки, круглые смешные очки, ходила с вечным наушником от спрятанного в рваном рюкзаке плеера и именовалась в знакомом окружении коротким именем Кэт. Хотя и поговаривали многие, что слушает она через тот наушник вовсе не полагающуюся оторвам-тинейджеркам разбитную музыку, а самую что ни на есть классику вроде какого-нибудь там Бетховена или Вивальди...

Он медленно поднял к ней голову. Взгляд уперся сначала в спущенный донельзя вниз пояс широких толстых хлопчатых штанов, усеянных сплошь большими и малыми карманами, потом в выпирающие наружу трогательно-наивно тазовые косточки, в голый живот, в короткую распахнутую курточку и, наконец, добрался до хитрого ее рыжего, усеянного конопушками, как кукушачье яйцо, маленького личика. Большие круглые глаза неопределенного, какого-то среднего между желтым и зеленым цвета, сияли лукаво-вопросительно через круглые стекла очков, не знающие краски ресницы хлопали по-девчачьи наивно, сквозь короткий рыжий ежик волос просвечивала нежная кожа – тоже, казалось, усеянная маленькими конопушками... Хорошая девчонка. Классная. Она давно ему нравилась. Живая такая...

– Кэт, а у тебя пузо не мерзнет? Зима ведь на дворе, а?

– Нет. Только пупок немного, – серьезно ответила Кэт, садясь рядом с ним на влажную скамейку. – Ладно, прогуляю и я с тобой за компанию. Все равно уже опоздала... Давай колись, о чем грустить будем?

– А ты хочешь со мной погрустить?

– Хочу. А что? Нельзя?

– Да почему, можно... Только боюсь, ты грусти моей не поймешь.

– Да с чего это вдруг? Вроде не тупая, не замечала за собой такого...

– Кэт, а у тебя семья большая?

– Да обыкновенная! Отец, мать да я. Как у всех сейчас. А что?

– Да так...

– А у тебя что, большая?

– О! Не то слово! У меня очень большая! Можно сказать, героически-многодетная!

– Как-то ты сейчас нехорошо это сказал, Петров...

– Да? Наверное. Сам вот сию переживаю, себя грызу. И матери нахамил с утра...

– Зачем?

– Хороший вопрос – зачем.... А затем! Понимаешь, обидно за нее стало, черт...

– А чего обидно-то?

Вовка замолчал, еще больше втянув голову в воротник куртки. Кэт сидела рядом, посматривала сбоку с дружелюбным интересом, ждала. Рыжие ее глаза блестели приятной искоркой, веснушки на кукушачьем лице светились, будто тоже хотели поучаствовать в простодушном приглашении к дружбе, к откровению, к легкому разговору. Неожиданно для себя Вовка и впрямь начал выкладывать перед этой девчонкой самое, как ему казалось, наболевшее и неразрешимое:

– Понимаешь, нас же у отца с матерью трое – мы с Сашкой да еще приемный наш братец, Артемка. А два года назад вдруг заявляется к нам еще братец из Саратова – Леня. Внебрачный, так сказать, сын...

– Ну и что такого?

– Да ты послушай дальше! А через какое-то время выяснилось, что на соседней улице растет еще один отцовский ребенок – Павликом зовут...

– Ничего себе! А как выяснилось-то?

– Да очень просто. Отец сам его к нам привел однажды – с братьями знакомиться, представляешь?

– А мать? Мать твоя как к этому отнеслась?

– Да в том-то и дело, что совершенно нормально! Как будто так и быть должно! Как будто это все в порядке вещей, и ничего такого из ряда вон выходящего и не происходит... То есть она выговаривала ему что-то там, конечно, но так, знаешь, будто смеялась...

– Да? Ой, молодец какая!

– Почему молодец? – уставился на нее удивленно Вовка.

– Да потому, что не каждая так вот сможет, Вовк...

– Так ты погоди, это же еще не все. Год назад у нас еще и сестренка вдруг объявилась, по имени Ульяна Шульц!

– Да ты что, Петров! Здорово как! А она откуда?

– Из Германии. Из Дрездена. Ее мать туда совсем малявкой увезла. Замуж там вышла за немца. А дочке всю жизнь твердила, что ее родной отец – самый замечательный на свете мужик, и что живет он в городе Краснодаре, и зовут его доктором Петровым. Она, когда первый раз к нам пришла, так к нему и обратилась: «Здравствуйте, доктор Петров! Я ваша дочь Ульяна...».

– Вот это да! Значит, теперь у тебя, если всех сосчитать... Что ж это получается...

– Погоди, не мучайся. Рано еще считать-то. Вчера к отцу, как оказалось, еще один сынок появился.

– Иди ты... Правда?

– Правда, правда. Из Екатеринбурга приехал. Врасплох его застал. Я так понял – он растерялся жутко. Парень этот уехал сразу, а отец теперь весь из себя совестью мучается...

– Ну да. Это и понятно...

– Да что, что тебе понятно-то? – вдруг взорвался праведным своим гневом Вовка. – Они что теперь, толпами будут к нему ездить, дети его внебрачные? А мать так этому и дальше радоваться должна? Бред какой-то...

– Петров, ты чего это? – медленно повернула к нему голову Кэт. – Ты что, не понимаешь? Это ж счастье – столько братьев иметь! Да еще и сестру впридачу! Они что, чужие тебе? Или плохие? Злые? Недостойные? Чего молчишь?

– Да нет... Все ребята классные, конечно...

Вовка задумался глубоко, прислушался к себе, почувствовав странную какую-то легкость: утреннее его раздражение отчего-то вдруг испарилось, оставив после себя лишь едва ощутимое неудобство, похожее на угрызение совести, как легкое послевкусие от горького, но

необходимого организму лекарства. Вспомнилось ему вдруг, как все они – и отец, и мать, и ребята – радуются всегда приезду Лени из Саратова, и мать печет сладкие пироги по этому поводу, и отец ходит, сияя глазами и улыбаясь, как именинник... Или вот когда Пашка к ним в гости приходит со своей скрипочкой, и они все дружно усаживаются на старенький диванчик, и слушают его талантливую, бьющую куда-то прямо в солнечное сплетение музыку... А уж про Ульяну и говорить нечего. Ульяна, его немецкая сестренка, так же, как и братцы, неожиданно появившаяся в его жизни, поразила его просто в самое сердце. Девчонке двадцать семь лет всего, а уже состоялась как фотограф-художник, и даже галерея у нее своя есть в родном ее Дрездене – с ума можно сойти... Она тогда все побережье объехала, нашла хороший дом в станице Голубицкой прямо у моря да и купила его на имя отца. Выложила на стол перед ним документы и говорит: «Это тебе, в память о маме моей. Она всю жизнь тебя с радостью любила да вспоминала самым светлым словом. Рассказывала – спас ты ее однажды...» Вовка потом долго еще приставал к отцу – все спрашивал, как он ее спасал-то. А отец отмолчался...

– А может, и правда, зря я так психую? – медленно произнес Вовка, поворачивая к Кэт голову. – Они в самом деле все классные. И все, как один, в чем-то талантливые... Мать так всегда и смеется – говорит, у моего мужа только талантливые дети получаются...

– И ты, Петров, тоже талантливый, что ль? – ехидно спросила Кэт. – Чего-то я этого за тобой особо не наблюдаю, знаешь... В нашем педагогическом из мужиков вроде одни только охломоны учатся да лузеры потенциальные, которых в приличные институты не взяли. Да еще и на историческом! Не мужицкое это дело вовсе...

– Почему это не мужицкое? – удивленно посмотрел на нее Вовка. – Как раз и мужицкое...

Вовке вдруг расхотелось спорить с девчонкой на эту тему. Он с отцом в свое время наспорился. Да и неловко стало, будто он должен ей как-то свою талантливость доказывать... И чего ее доказывать – может, и нет ее вовсе, никакой талантливости. А то, что ему захотелось в свое время Артемке помочь, к школе его подготовить, так он все-таки брат ему, а не кто-нибудь...

Артемку Петров привел в свой дом уже шестилетним мальчишкой, запуганным и неразвитым. Так вот взял вечером и привел прямо с похорон Артемкиной матери, посадил перед Анной и сказал: «Это мой сын, Аня. Он будет жить с нами». И все. Артемка потом несколько дней сидел – звереныш зверенышем, испуганно втянув голову в плечи, не разговаривал ни с кем, и только к Петрову, когда тот с работы поздно вечером приходил, кидался со всех ног, как к спасителю, вцеплялся по-обезьяньи в шею – не оторвать... Вот тогда вдруг в Вовке и затрепыхался, заворошился непонятный какой-то педагогический зуд, и захотелось непременно этому новоиспеченному братцу помочь – совсем уж он запущенный был, дикий, и совсем для шестилетнего пацана неразвитый – маленький такой деградант, в общем. И начал его Вовка вытягивать потихоньку-помаленьку, всю душу в это дело вкладывал. А потом, намного позже, понял вдруг, что как раз на этом самом месте душа его и расположилась, и что все это ему ужасно интересно – современным, так сказать, «Макаренко-Ушинским заделаться», как Сашка его обозвал, подсмеиваясь беззлобно. А потом он и с Петровым долго спорил на эту тему – тот его все предостерегал – мол, для этого дела надо уметь всех детей подряд любить. Что ж, прав, конечно. Вовка тогда дал и отцу, и себе слово – он обязательно научится их любить. Всех. Хотя, как отец ему ответил, любви не учатся, она в человеке или есть, или нет ее вообще...

– Кэт, а ты любить умеешь? – неожиданно для себя спросил Вовка, резко повернув голову к девушке.

– Умею. – Ни капли не смутившись, ответила серьезно Кэт и, помолчав, продолжила: – В любом жизненном обстоятельстве любовь все определяет, Вовка. Иногда чувства человеческие большей ценностью обладают, чем все досужие философские рассуждения, вместе взятые...

Вовка задумчиво уставился на нее, рассеянно улыбнулся в ответ, кивнул согласно головой. Ему все больше нравилась эта девчонка. И дело было вовсе не в этой ее необычности – просто нравилась, и все. Было в ней что-то особенное – теплое, рыжее и отчаянно-умнень-

кое. И говорит она хорошо – по-женски ласково как-то, снисходительно и в то же время не обидно совсем... Сам смутившись от своего пристального взгляда, он торопливо соскочил со скамейки, проворчал быстро:

– Пошли давай на учебу, рыжая болтуня. Лентяйка, все бы только философствовала она. Да и скамейка, смотри, холодная, задницу простудишь. Тебе ж еще детей рожать...

– Пошли, – Кэт нехотя поднялась со скамейки, взглянула на него искоса, – а ты ничего, Петров... Занятный...

На лекциях он все время смотрел в ее сторону. И не хотел вовсе, а смотрел. И она вдруг оглянулась – почувствовала. Улыбнулась ему всем своим искрящимся веснушками лицом – и глазами, и губами, и даже уши ее чуть двинулись вверх. Здорово как... Как другу ему улыбнулась. А может, и больше, чем другу – была у них на двоих общая тайна. Уж в чем она заключалась – бог его знает, но была. Он это увидел сейчас...

4

Илья проснулся от лязга резким рывком открывшейся двери, уставился испуганно на ввалившегося в купе высокого красивого парня в распахнутой дубленке. «Люся, это здесь! Иди сюда! Вот тебе и попутчик на дорогу!» – громко произнес парень, глядя насмешливо своими яркими голливудскими глазами на растерянного, моргающего спросонья Илью. – «Ты, парень, девушку не обижай, ладно? Она хорошая...», – обращаясь скорее к вошедшей девушке, весело продолжил он. – «Ну, все, Люсь, пока. Там, говорят, стоянку сократили...» Парень неловко клюнул девушку в щеку, сделал от двери ручкой и быстро пошел к выходу из вагона.

Поезд и в самом деле вскоре тронулся с места, за окном замелькали огни какого-то большого города. Девушка сидела, не двигаясь, не снимая куртки, молча уставившись в окно.

– Это какой город? – спросил Илья, пытаясь завести разговор.

– Уфа... – тихо ответила девушка, не отрывая немигающего взгляда от окна.

– А давайте я вам помогу сумку на верхнюю полку закинуть. Вы до какой станции едете? Может, мне выйти? Вам, наверное, переодеться надо... – неуверенно пытался расшевелить ее Илья.

– Я еду до Екатеринбурга. Сумку закидывать не надо. Выходить тоже не надо. Вы спали – и спите дальше, – злобно произнесла девушка, повернув, наконец, голову от окна и глядя прямо ему в лицо. На маленьком ее, ничем не приметном широкоскулом смуглом личике с прямым носиком и поджатыми в скорбно-горестную скобочку губами выделялись своей выразительностью лишь огромные карие глаза – отчаянно-несчастные, кричащие своим горем через толстую пелену из непролитых слез, уже сильно просящихся наружу, держащихся на одном только злобном ее голосе да напряженной позе. В ту же секунду Илья вдруг почувствовал, как током прошло по нему чужое горе, как приняло в себя сердце тягостный его импульс – он обязательно, обязательно должен помочь этой девушке...

– Люся, вам, наверное, поплакать сейчас надо. Вас ведь Люсей зовут, да? Так вы и плачьте, и не обращайтесь на меня ни малейшего внимания, пожалуйста! Если стесняетесь – я сейчас выйду... У вас случилось что-то?

– Да вам какое дело! Отстаньте от меня! – почти прокричала девушка, задохнувшись, давая путь наконец-то прорвавшимся слезам.

«Ну вот, уже хорошо...», – подумал Илья, протягивая ей бумажные салфетки. Она с силой оттолкнула его руку и, сбросив ботинки, поджала под себя ноги, спрятав в коленки искаженное плачем лицо. Рывания сотрясали все ее худенькое тело, плечи ходили ходуном, узкие ступни в тонких голубых носочках некрасивым и косолапым утюжком уперлись в вагонную полку.

– Ну, вот и хорошо, – вслух произнес Илья. – Я сейчас вам чаю принесу...

Он тихо вышел из купе, встал у окна, прислонившись лбом к холодному стеклу, как будто пытаясь разглядеть что-то в сплошном мелькании быстро меняющихся ночных пейзажей. Полная луна на небе равнодушно взидала на стремительно мчащийся зимний поезд сообщением Краснодар-Екатеринбург, на него, взволнованного чужим горем белобрысого парня, уставившегося грустными мягкими глазами в темноту проносящихся мимо сонных лесов и полей, на его попутчицу – горько плачущую в купе девочку в голубых носочках. «Ну вот, опять...» – обреченно подумалось ему вдруг, – «Опять сейчас чужие проблемы решать буду, глупостей всяческих наделаю. И ведь совершенно определенно наделаю, знаю уже...»

Через полчаса, боясь расплескать теплый чай из стакана, деликатно позванивающего в классически-старом затертом подстаканнике, он, набравшись смелости и решительно дернув за ручку двери, вошел в купе.

– А я тебе чай принес! Только он не очень горячий уже, там титан остыл... – бодрым голосом произнес Илья, поставив на стол стакан и искоса поглядывая на Люсю, тихо сидящую в прежней своей позе, упершись лбом в поджатые колени. – Ты пирожок с капустой будешь? Вкусно, я ел...

– Я не знаю... Я со вчерашнего дня ничего не ела, – подняла Люся на него опухшие от слез глаза.

– Тогда вот! И пирожок, и яйца вареные, и колбаса...

– Спасибо...

– А ты куртку сними, неудобно же! Ничего, что я на ты?

– Да ради бога. Чего мне с тобой, детей крестить?

Люся поболтала ложечкой в стакане, размешивая сахар, протяжно, на вдохе, всхлипнула, сделала осторожный глоток.

– Поешь, – не унимался Илья, – сразу легче будет! По себе знаю. Когда нервничаю – съедаю все, что не приколочено!

– А я, наоборот, вообще на еду смотреть не могу. Как будто желудок в твердый комок сжимается и ничего, ничего не чувствую...

– А что у тебя случилось-то? Горе какое?

– Да какое тебе дело?

– Раз спрашиваю, значит, есть дело! Давай рассказывай!

– Отстань, парень...

– Меня Ильей зовут.

– Да пусть хоть как тебя зовут – отстань, а?

Люся опять уставилась в окно, забыв про чай и не притронувшись к еде, заботливо разложенной перед ней Ильей.

– Люсь, а ты знаешь, что такое психоанализ по-русски?

– Нет. А что это?

– Это разговор двух попутчиков в поезде. Особенно ночью. Выговариваются часами, взахлеб, все тайные горести друг другу изливают – все равно ведь никто не узнает! Вышли люди из поезда – и разошлись в разные стороны. И денег за сеанс платить не надо...

– Да, действительно, – засмеялась, наконец, Люся, – и правда, халявный сеанс психоанализа! Где ж еще бесплатно чужой человек тебя всю ночь выслушивать будет?

– Ну, так а я о чем? Тут, главное, зевать нельзя: кто быстрее своего попутчика в благодарного слушателя успеет превратить, тот и в выигрыше... Так что давай, рассказывай! Я тебе фору даю.

– Да чего рассказывать-то? Ничего интересного. Банальная, наверное, на посторонний взгляд история...

– Так все истории на первый взгляд банальны. Для чужого уха просты, а для своего сердца горестны. Вот ты самое горестное и произнеси словами. Я пойму, ты не бойся...

– Ну что ж, ладно, попробуем, – задумчиво произнесла Люся. – А ты что, к психоанализу какое-то отношение имеешь? Внучок дедушки Фрейда двоюродный?

– Нет, я в юридическом учусь, на втором курсе.

– О! Коллеги, значит! А я два года назад закончила. А Глеб в прошлом году диплом получил, в июне...

Она опять замолчала, будто споткнувшись на этом имени, снова уставилась в темное окно, вцепившись напряженно ладошками в остывший металл подстаканника.

– Кто такой Глеб? – напомнил о себе Илья, незаметно подвигая поближе к ней тарелку с едой.

– Ты видел парня, который меня провожал?

– Видел, только не разглядел спросонья. Красивый такой вроде.

– Да, очень красивый... Это Глеб. Глеб Сахнович. Мой парень. Вернее, бывший парень... Я на третьем курсе училась, когда мы познакомились, а он на первом еще. Влюбилась, как дура. И как меня угораздило, сама не знаю...

Люся и впрямь начала рассказывать, но неохотно как-то, ежась от неловкости и изредка бросая будто виноватый взгляд на Илью. Постепенно, и сама того не заметив, все же увлеклась горькими своими эмоциями, и даже заблестела глазами, словно сидела не в плохо освещенном купе зимнего поезда, а на приеме у хорошего и дорогого психоаналитика...

С Глебом Люся познакомилась в институтской библиотеке. Сама подошла, словно черт ее к нему понес. Просто подняла вдруг от книжки голову и ткнулась взглядом в его красивое, совсем одурело и растерянно уставившееся в разложенные вокруг учебники лицо. Смешно ей стало тогда почему-то, и еще – жалко очень парня. Помочь ему захотелось. Если б знала она тогда, умненькая и правильная девочка Люся, чем обернется для нее эта ее сердобольность... «Ну, что у тебя?» – подойдя, спросила она его насмешливо, – «Совсем заплухался, я вижу. Первкурсник, что ли? Первую курсовую делаешь? Ну-ка, давай посмотрим...»

Так они и познакомились. Он проводил ее до дома, на следующий день они снова сидели в библиотеке, а потом постепенно занятия эти перекочевали к Люсе домой. Вернее, они вообще вскоре стали исключительно только Люсиными, эти занятия, – Глеб в основном сидел рядом и смотрел на нее преданно. А потом и смотреть перестал. А потом она и сама не заметила, как полностью провалилась в эту зависимость, растворилась в яркой синеве красивых голливудских глаз, как потеряла себя, увязла в этом парне каждым своим ноготком, и пришел птичке конец, или как там еще в народе говорят... Она и сама от себя такого не ожидала – всегда была девушкой в меру осмотрительной, в меру циничной, в меру себе на уме. И вот нате – была девушка Люся, и нет ее...

Учился Глеб из рук вон плохо, тянул кое-как на тройки – она ж на семинарах да на экзаменах не могла за него отвечать. Хотя курсовые работы и практические задания вместо него, конечно же, исправно выполняла. И госэкзамены его на себе, можно сказать, вытащила – занималась с ним днями и ночами. В общем, постепенно превратилась Люся в Глебову мамку, заботливую и хлопотливую клушу, хотя и числилась официально для всех его девушкой. Что, впрочем не мешало ей понимать – настоящими его девушками как раз другие были, с которыми он с удовольствием ходил и в клуб, и на дискотеку, и на «чашечку кофе»... Понимала, а сделать с собой уже ничего не могла. Потому как – любовь... И бегала за ним, и выслеживала, как та жена-ревнивица, и ночами вызванивала, сама себя при этом презирая глубоко и основательно. И бросить никак не могла. А Глеба такое положение вещей вполне устраивало – дипломы юридического института, знаете ли, на дороге не валяются. Люся даже и жениться его на себе уговорила, как только они этот его диплом получат. Глеб обещал... Они так и решили – как только он к родителям в Уфу за благословением съездит, сразу и свадьбу сыграют...

Люся вдруг захлебнулась торопливым и сбивчивым своим монологом, опять замолчала, уставившись огромными карими глазами в темное вагонное окно, будто провалилась с головой в горькие свои воспоминания, забыв и о своем попутчике, и о его халявном сеансе психоанализа...

– Ну? А дальше-то что? – опять напомнил о себе осторожно Илья.

– Да что дальше... – не отрывая немигающего взгляда от темного окна, продолжила нехотя Люся, будто враз потеряв интерес к разговору. – Вот он уехал в Уфу, а я его ждать начала. Месяц жду, другой, третий – нет его. На сотовом номер сменился, по домашнему мать все время отвечает – то он на дискотеке, то девушку провожать ушел... В общем, извелась я вся. Как осень прошла да как зима потом наступила, уже и не помню. Автоматом хожу на работу – я помощником адвоката устроилась – а мысли все об одном. Как ты думаешь, это любовь?

– Не знаю...

– А ты сам-то любил когда-нибудь?

– Нет... Вот так – нет. Я вообще всех люблю.

– Как это?

– В том смысле, что всех одинаково... А так, как ты, я не смогу, наверное. Чтоб других не видеть, а только в одного человека уйти.

– А-а-а... Понятно. Тебе лет-то сколько?

– Двадцать.

– Ты маленький еще просто. Хотя вот Глебу двадцать три всего, а у него уже огромный опыт по этой части...

– И все равно я так не смогу. Я думаю, любовь – это когда всех кругом любишь, а тот, кого любишь сильнее, помогает тебе других любить. А то, что с тобой произошло, больше на тяжелую болезнь похоже. Что-то сродни алкоголизму, наркомании... Когда человек понимает, что это плохо, а что-то изменить уже будто и не в силах.

– Да, наверное, так и есть... В общем, не выдержала я, сорвалась и поехала в Уфу. Теперь вот возвращаюсь не солоно хлебавши...

Люся, вздохнув коротко, будто всхлипнув, снова продолжила свой грустный рассказ – как пришла она сегодня утром домой к Глебу, как стояла долго около дорогой сейфовой двери его квартиры, похожей на вход в бункер, как долго-долго не решалась нажать на кнопку звонка...

Дверь ей открыла мать Глеба, полная вальяжная женщина несколько почтенных уже лет, и даже улыбнулась ей снисходительно-приветливо, и даже вежливо пригласила пройти в гостиную, что Люся и сделала, обрадовавшись такому родственному почти приему. Это потом уже выяснилось, что почтенная дама просто приняла ее за прислугу, пришедшую в дом на работу устраиваться – накануне она в газету объявление такое дала. Но оглядеться все ж в Глебовом доме Люся успела, и свекровь свою потенциально-несостоявшуюся тоже разглядеть успела, пока та не поняла, наконец, что перед ней сидит вовсе не девочка-прислуга, а та самая Люся, от общения с которой ее сынок так тщательно был оберегаем все последнее время.

В планы Глебовых родителей Люся как таковая никак не входила. Другие совсем были у них на сына планы, можно сказать, более материально-тщеславные: по их общепринятому решению, Глеб должен был вскорости сочетаться законно-корпоративным браком с дочерью отцовского партера, такого же бизнесмена, внезапно разбогатевшего во времена коротенького, образовавшегося между социализмом и капитализмом дикого Клондайка. Так что бедная Люся тут же и получила самый что ни на есть крутой от ворот поворот: выставила ее Глебова мать за дверь совсем уж халдейски-бесцеремонно, только что пинка под зад не успела дать...

Но Люся Глеба все равно разыскала – очень уж хотелось ему в глаза красивые голливудские посмотреть. Соседи подсказали, где он работает. А Глеб, конечно же, только картинно руками развел: он против воли родительской вроде как и пикнуть не смеет, ни-ни... На вокзал вот проводил. И всю дорогу искренне удивлялся Люсиной этой наивности – как же так, мол, она, глупая, поверила, что он и в самом деле на ней жениться вздумает... И все посматривал на нее оценивающе да насмешливо, рассказывая при этом о невесте своей – такой исключительно длинноногой, такой исключительно блондинке, и с грудью исключительно как у Памелы Андерсон... И не в надобность ей, говорил, никакого такого лишнего интеллекту – только личико беленькое-хорошенькое им портить...

Как Люся все это выдержала да не расплакалась, для нее и самой загадкой осталось. Рассказав до конца всю эту немудреную историю своему случайно-заинтересованному юному попутчику, она, вдруг резко вскинув к нему лицо, спросила отчаянно-горестно:

– Ну вот скажи мне, только правду, – я и на самом деле, что ль, никудышная совсем, что со мной вот так вот поступить можно? Не только обмануть-бросить, да еще и посмеяться потом, да?

– Господи, да дурак твой Глеб! Кретин полный! – горячо и громко проговорил, почти покричал Люсе Илья. – Это же невооруженным глазом видно, какая ты красивая!

– Ну да... – усмехнулась грустно девушка. – Это ты о чем? О внутренней красоте, что ль? Самое главное, чтоб душа красивой была, да? Знаем мы эти сказки для неказистых теток...

– Да при чем тут сказки? Просто я вижу, что в тебе присутствует такое, на что самые красивые женщины, будь они поумнее, тут же и променяли бы всю свою красоту, пушистость и длинноноготь. И это, как его... Ну, все хозяйство, которое у Памелы Андерсон в избытке имеется...

– Откуда ты знаешь? Мы с тобой всего час знакомы, а ты уже и увидеть что-то успел?

– Да, успел! Способность у меня есть такая – видеть невидимое...

– Да? Как интересно! А ну, расскажи!

– Да ну... – махнул рукой, вдруг засмутившись, Илья.

– Что значит – да ну? – возмутилась тут же Люся. – Ничего себе! Нечестно же это – я тут перед тобой наизнанку вывернулась, можно сказать, а ты мне – да ну? Давай выкладывай, что у тебя там за видимое-невидимое!

– Ну, в общем, это теория такая...

Илья замолчал, будто сосредоточился где-то внутри себя, потом недоверчиво-коротко взглянул на Люсю, словно прикидывал, стоит ли ей рассказывать, и не покажется ли ей все это совсем уж смешным...

Когда-то давно, еще в школе, он прочитал в одном из журналов интереснейшую статью известного американского ученого-психолога, который вывел формулу классической счастливости-успешности. И составлялась будто эта самая счастливость-успешность всего из двух показателей: природой заданной человеческой самости плюс корень квадратный из совокупности ума, красоты, ухоженности, интеллекта, родословной и так далее – список этот можно было продолжать до бесконечности. По мнению ученого получалось, что сама по себе счастливость-успешность человеческая и зависит только от величины природной самости, остальные же показатели – ум, красота, ухоженность и так далее – никакого такого определяющего значения вовсе и не имеют, поскольку под корнем квадратным находятся. Вот тогда Илью и поразило собственное свое открытие – показалось ему, что на уровне своих каких-то внутренних эмоций он будто ощущает в человеке эту его природную самость, и порывы эти его странные да лампочки как раз на тех и направлены, в которых эту самость природа вообще заложить позабыла... Что вместо положенной самости у таких людей просто дырка черная зияет, и все. И дует через эту дырку черный сквознячок злобности, недовольства, отчаяния, и вынуждены эти люди изо всех сил похвалиться перед другими вторичными своими показателями – красотой, ухоженностью, массой накопленных каких-то знаний, да бог еще знает чем...

Рассказывая сейчас про это свое открытие Люсе, он все время коротко взвздывал на нее, боясь увидеть в глазах привычную уже насмешку. Но насмешки никакой не было. Люся внимательно слушала и про самость, и про дырки, и про черные сквознячки... И вдруг, перебив, спросила нетерпеливо:

– А у меня? Скажи, у меня эта самость есть? Ты у меня какой ее видишь?

– А у тебя, Люсь, она точно имеется – похожа на теплый розовый камень. И она никуда от тебя не денется, и сама тебя поднимет над обстоятельствами, и остальное определит постепенно...

– Что – остальное?

– Ну, счастье, успешность... Дорогу твою, например, которая тебе сейчас такой темной кажется. И любовь, и карьеру... Да все, что захочешь!

– Интересно трактуешь, – задумчиво и серьезно улыбнулась Люся. – То есть, я так понимаю, низкую самость никакой внешней красотой не спрячешь, а при высокой – и стараться не надо, она сама все определит?

– Ну да... А представляешь, есть люди, у которых эта самость вообще на нуле. И ни купить ее, ни искусственно сделать невозможно – это ж их природная данность, такими родились! Самооценку можно поднять, а самость – нет, она манипуляциям не поддается. И ходят они по земле, бедные, с дырками вместо нее...

– А ты что, и дырки эти видишь?

– Вижу, но не всегда.

Иногда ему действительно казалось, что видит. Видит это страдание непонимающих себя людей, которые ходят, будто тени неприкаянные и злобную свою хитрость, от страданий накопленную, таскают за собой, как черный шлейф да в дырку эту и выпускают периодически – смотреть невозможно. Таким способом он поступки свои странные самому себе и объяснил: кто-то же должен хоть на время затыкать собой эти самые чужие черные дырки – почему не он? Раз именно он их видит...

– Слушай, а мне и в самом деле твой сеанс психоанализа помог! – неожиданно улыбнулась Илье Люся. – Видно, самость моя вконец уже захиреть успела. Я вот выговорила – мне и легче стало. Правда, чуть-чуть совсем... Так что спасибо тебе. И вообще, ты молодец!

– Гришковец...

– Что?

– Да погоняло у меня такое с детства – Молодец-Гришковец.

– Как? – рассмеялась Люся. – Молодец-Гришковец? А что? Тебе идет, между прочим... Молодец-Гришковец, юный борец с черным сквозняком, злобно веющим из дырок человеческих... Интересный ты парень, слушай!

– Странноватый, да?

– Почему странноватый?

– Да говорят про меня так. И еще – что я белая ворона...

– Да нет, почему. Ты все правильно говоришь. Забавно просто...

– Да? Ты правда так считаешь? – расплылся вдруг в радостной улыбке Илья.

– Правда, правда. Делать мне больше нечего, как врать тебе сидеть, что ли? Несчастной, влюбленной, брошенной, да к тому ж еще и голодной... Слушай, Молодец-Гришковец, а я и правда есть захотела! Можно, я твоей еды поем и спать лягу? Поезд утром приходит, и мне сразу на работу идти... Нам и поспать-то осталось всего ничего!

Ранним серым февральским утром, ежась от холодного уральского ветра, они вышли на перрон вокзала и быстро направились к выходу в город.

– Люсь, телефон свой оставь...

– А зачем? Сеанс психоанализа по-русски закончился. Попутчики разбежались в разные стороны...

– Ну, мой возьми. Так, на всякий случай...

– Давай...

5

Люся тихо открыла своим ключом дверь, на цыпочках вошла в прихожую. Тут же ей в ноги, скуля, бросился Фрам – огромная неуклюжая овчарка, «злой и старый овчар», как называл его Глеб, которого Фрам почему-то не жаловал. Ревновал, наверное...

Из кухни, тоже на цыпочках, вышел отец, спросил громким шепотом:

– Ты где это пропадаешь? Дома не ночуешь...

– Пап, ты с Фрамом гулял? – так же шепотом спросила Люся, уклоняясь от Фрамовых нежностей и расшнуровывая ботинки.

– Да. Я с ночного дежурства, спать еще не ложился. Завтракать будешь? Я пельмени варю...

– Не хочу пельмени.

– А больше ничего нет. Я шел, магазины еще закрыты были, а до круглосуточного супермаркета далеко. И вообще, не выпендривайся! Слава богу, хоть полпачки пельменей в холодильнике завалилось!

– А чего это вы тут так интимно шепчетесь? Я уже не сплю!

Из комнаты в прихожую выплыла Шурочка в своей любимой кокетливо-розовой пижамке с рюшечками, с ярко-зеленого цвета маской на лице. Уже от одного вида этой маски Люсю замутило, будто ударило сильно то ли в голову, то ли в печень – ну никак организм с этой поднадоевшей картинкой не справляется, а ведь и привыкнуть уже пора за столько совместно прожитых лет. Подумалось вдруг, что она уже и не помнит, пожалуй, настоящего лица своей матери; вместо него – только маски: зеленые, красные, овсяные, фруктовые, желтковые, белковые...

– Это растертая петрушка с кефиром! Очень полезно, особенно по утрам – хорошо поры стягивает, – начала свою обычную песню Шурочка, – вот если б ты не кривилась, Люсенька, а делала все как я, тоже выглядела бы великолепно. Это сейчас тебе двадцать пять, и кажется, что старость никогда не наступит. Как бы не так, дорогая! Не успеешь опомниться – она уже тут как тут...

Наступающей старости Шурочка боялась просто панически. Последние десять лет она вела с ней не только непримиримую подпольную борьбу, но и одержимо сражалась на баррикадах, и смело шла в наступление, отвоевывая у нее пядь за пядью кусочки уходящей стремительно молодости. В военной науке по сокрытию своего истинного возраста она была, пожалуй, уже доктором наук, профессором, лауреатом нобелевской премии – каждодневно истязала себя масками, тренажерами, полезным питанием с пищевыми добавками, всевозможными гимнастическими, специальными упражнениями для лица, для талии, для бедер... К тому же отчаянно модничала – носила короткие юбочки и узенькие брючки, делала стильные стрижечки и не жалела денег на дорожную косметику. Даже умела смеяться звонко, по-девичьи, кокетливо откидывая голову назад – тоже результат длительных тренировок перед зеркалом. Да все бы это ничего, как говорится, у каждого в голове свои тараканы водятся... Беда была в том, что Шурочка и мужа с дочерью заставила жить по своим законам военного времени: она давно уже перестала быть для них просто женой и матерью, она превратилась для них в Шурочку – юную барышню, которую не должны волновать ни бытовые проблемы, ни будущее взрослой уже дочери, ни голодный муж-хирург, заглядывающий тоскливо после ночного дежурства в пустой холодильник... Никто из них и не заметил вовремя, когда произошла с ней эта проклятая метаморфоза – по молодости Шурочка изо всех сил старалась быть и примерной женой и матерью заботливой. Хотя старание это объяснялось отчасти чувством вины перед мужем – обманула она его в юности, замуж за него быстренько выскочила уже будучи сильно беременной от его же, мужниного, друга-однокашника. А потом вся вина как-то ею же самой и

подзабылась, и Люся об этом ничего и благополучно не знала, да и вообще – за все совместно прожитые годы тему эту муж ее больше никогда и не поднимал...

Люся с отцом терпели. Изю всех сил. Терпели бесконечные рассказы о том, как ошибаются люди в отношении ее возраста, как приняли ее на службе за молоденькую курьершу, или за студентку-практикантку, как на улице пытаются познакомиться с ней совсем молодые люди, как Люсю приняли за ее сестренку... Терпели разложенные по всей квартире баночки, скляночки с кремами, масками, бальзамами, притирками, настоями, развешенные по всем углам пучки трав, расставленные всюду тарелки с прорастающим зерном... Они с отцом придумали даже свою игру, которую начинала, как обычно, Люся:

– Пап, а вот если к толченым рыбьим костям добавить немного овсяной муки...

– А потом налить туда жидкости для мытья посуды, – задумчиво добавлял отец.

– И добавить ко всему этому куриного помета, смешанного со свежими листьями крапивы... – тут же подхватывала Люся.

– И еще немного гуталину...

– И нанести полученную маску на лицо...

– То ваша ко-о-ожа станет ба-а-архатной, как у младе-е-е-нца! – в унисон произносили они вместе, удачно подражая Шурочкиным интонациям.

Постепенно они даже как-то и попривыкли к отсутствию нормальной еды в холодильнике, где можно было обнаружить только кастрюльку с овсянкой без соли и сахара, или салатик из тертой морковки и свеклы, или, например, несколько пакетиков обезжиренного кефира... Люся иногда героически вставала к плите, варила борщ со свининой, жарила котлеты и картошку с салом, и пироги пекла – отцу нравилось. Но часто баловать его не получалось – у нее ж своя жизнь, – то любовь, то страдания...

Шурочка, надо отдать должное ее усилиям, выглядела действительно очень молодо для своих сорока пяти лет. Розово и пушисто выглядела. Но было в ее облике – во всех этих коротких юбочках, модных стрижечках, гладком личике – что-то нарочитое, жалкое, просящее, что сразу бросалось в глаза. Все было красиво – и не было ничего. Ничего, кроме страха разоблачения – а вдруг кто-нибудь догадается, что она не молода, и вынесет свой жестокий приговор... «А все остальное – под корнем квадратным...» – глядя на ее розовую пижамку и зеленое лицо, вдруг вспомнила Люся того странного парня из поезда с его формулой человеческой личности. – «Да, парень, не такой уж ты и выдумщик, что-то в этом есть... Дует, дует черный сквозняк из Шурочкиных дырок, и холодом обдает...»

– Пап, я буду пельмени! – крикнула Люся из ванной, перестав, наконец, разглядывать в зеркале свое осунувшееся серое лицо с темными разводами под глазами. Ну, не красавица, что ж... Хотя и не без изюминки-интересинки, и не без интеллекту в карих больших глазах... И волосы хороши – длинные, густые, темные... «Ничего, поживем еще!» – подмигнула она сама себе в зеркало и встала под горячий душ, чуть не застонав от удовольствия, от обрушившегося, наконец, на нее живого тепла – так перемерзла за эти дни никчемной своей поездки...

– Не понимаю, как вообще можно есть пельмени! – доносился до Люси высокий монотонный голос Шурочки, – это же дикая смесь углеводов с белками! Смерть для организма! Вы сами себя отравляете такой едой, как этого можно не понимать, я не знаю...

– Ага, сейчас все бросим, и будем есть одни только проросшие зерна, – проворчала беззлобно себе под нос Люся, медленно согреваясь под горячими струями.

Душевой шланг уже давно и безнадежно протекал в трех местах, образуя крутящиеся фонтанчики, половина голубой кафельной плитки отвалилась, шторка для ванной напоминала замызанную белесую тряпочку. Ремонт в их семье было заняться совершенно некому – отец давно дом забросил, да и бывал здесь в последнее время все реже и реже, у Люси несчастная любовь приключилась – до того ли ей было, в самом-то деле, а Шурочке и вовсе некогда – война со старостью отнимала у нее все силы, а главное – средства. «Наши матери в шлемах и латах

бьются в кровь о железную старость...», – вспомнилась тут же Люсе строчка из популярной песенки.

Испугавшись, что строчка эта привяжется теперь намертво и на целый день, она с силой замотала головой из стороны в сторону, пытаясь вытряхнуть ее побыстрее. И тут же поймала себя на мысли – как же она давно, оказывается, песен внутри себя не пела... Выходит, и правда помог ей этот парень – доморощенный психоаналитик из ночного поезда. Вот и песни она поет, и в зеркале себя разглядывает... Как его, бишь, там? Гришковец... Ай, молодец, Гришковец!

– Люся, ты не одна здесь живешь! – вывел ее из задумчивости пронзительный Шурочкин крик, – мне ванная срочно нужна!

– Иду, иду... – проворчала Люся, с сожалением отключая душ, – сейчас выхожу...

– Люсенька, мне с тобой серьезно поговорить надо, – отец осторожно поставил перед ней тарелку с дымящимися пельменями, налил в большую кружку кофе.

– На тему? – подняла она на него удивленные глаза. – У тебя столько пафоса в голосе... Волнуешься, что ли? Сахару в кофе набухал – пить невозможно!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.